

«Мертвых душ» о двух писателях. Традиции этой темы были продолжены в творчестве А. Герцена («Былое и думы»), Ф. Достоевского, а также Л. Толстого, заявившего: «Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общи всем тайны людям» [10, т. 53, с. 94].

1. Ленин В. И. Из прошлого рабочей печати в России // Полн. собр. соч. Т. 25. 2. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972. 3. Богословский Н. Вступительная статья // Н. В. Гоголь о литературе. М., 1952. 4. Гегель Г. Сочинения. В 14 т. М., 1938—1958. 5. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л., 1937—1952. 6. Десницкий В. А. Задачи изучения жизни и творчества Гоголя // Десницкий В. А. Статьи и исследования. 1981. 7. История русской литературы. В 4 т. Л., 1979. 8. Куприянова Е. Н. «Мертвые души» Н. В. Гоголя (замысел и его воплощение) // Рус. лит. 1971. № 3. 9. Смирнова Е. А. Общественная и эстетическая позиция Гоголя в последнее десятилетие его жизни // Освободительное движение в России. Саратов, 1975. 10. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. 11. Чернышевский Н. Г. Сочинения и письма Гоголя // Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1947.

Статья поступила в редколлегию 05. 04. 85

А. А. Слюсарь, доц.,
Одесский университет

О жанровых особенностях «Записок сумасшедшего» Н. Гоголя

Обобщая свой творческий опыт, Н. Гоголь в проспекте «Учебной книги словесности для русского юношества» выдвинул концепцию жанров, которая, в отличие от тогдашней теории эпоса, получившей классическое выражение у В. Белинского, подчеркивала разнообразие жанрового содержания. Его основные виды представлены синтезирующими жанрами, в которых воссоздается личность определенного типа, обусловленного характером связи с обществом. Так, эпопея избирает «всегда лицо значительное... вокруг которого необходимо должен созидаться весь век его» [5, т. 8, с. 478]; герой «малой» эпопеи — лицо «частное», но достаточно примечательное, чтобы изображение его «приключений и перемен» позволило нарисовать картину нравов [5, т. 8, с. 478—479], в романе же все «...является потому только, что связано слишком с судьбой самого героя» [5, т. 8, с. 481], представляющего, следовательно, главный интерес. Иной аспект избирается в повести, являющейся жанром аналитическим. В ней внимание сосредоточено на психологическом явлении, взятом независимо от типа личности; она передает «случай почему-нибудь замечательный в отношении психологическом» [5, т. 8, с. 482]. Значит, повесть может воплотить любое жанровое содержание: эпопейное, нравоописательное, романтическое. Что же касается рассказа, то он, как это вообще характерно для тогдашнего

этапа литературы, рассматривается в «Учебной книге...» как разновидность повести [5, т. 8, с. 482].

В повестях Н. Гоголя преобладает нравоописательность. Лишь некоторые из них романичны. Г. Поспелов отмечает, что в романе «главный персонаж... обнаруживает развитие своего социального характера, вытекающее из противоречия его интересов с его положением в обществе, с теми или иными нормами жизни этого общества» [16, с. 202]. К такой эволюции ближе всего, пожалуй, расподобление героя со средой, превращение его в личность, занимающую самостоятельную жизненную позицию, в «Записках сумасшедшего». Титулярный советник Аксентий-Иванович Поприщин первоначально разделяет образ мыслей своей среды, но, занимая в ней особое положение, получает возможность взглянуть по-новому на свои отношения с миром. Являясь не только столоначальником, но и помощником директора департамента, посылающего его «вместо слуги», он оказывается причастным к «высшей» сфере жизни. Это позволило ему непосредственно увидеть бездну, разъединяющую его, мелкого чиновника, с сановником, и вместе с тем вселяло убежденность в исключительности своего положения, в том, что для него возможно иное поприще... Ведь рядом с ним были люди другой социальной судьбы... И вот Поприщин переступает запретную линию: немолодой, невежественный, полунищий, со смешной наружностью, он влюбляется в юную директорскую дочь... В итоге противоречие между его реальным положением и иллюзорными представлениями о нем драматически обостряется. Осознание этого несоответствия и попытка преодолеть его и составляет сущность эволюции героя.

У Поприщина зреет чувство личного достоинства — черта характерная для общества, в широких кругах которого пробуждается личностное самосознание. Герою «Записок сумасшедшего» не просто расстаться с психологией «холопа», восторгающегося «добрым и хорошим господином» [1, т. 16, с. 40]. Он жаждет компромисса, ему хочется верить, что в условиях вопиющего социального неравенства можно пользоваться правами человека, обладая титулом дворянина. Направляясь осенним утром в департамент, чтобы выклянчить вперед жалование, он с неподражаемым апломбом заявляет: «На улицах не было никого...» Накрывшаяся полами от дождя «баба», «русские купцы под зонтиками» и кучера не в счет. «Из благородных только наш брат чиновник плелся» [5, т. 3, с. 194]. Мышление категориями сословных отношений, исключаящих личное достоинство, сообщает герою «Записок сумасшедшего» трагикомизм и становится источником его раздвоенности.

Пытаясь приспособиться к гнетущим его обстоятельствам, Поприщин нуждается в душевном «подполье», в котором сублимируются впечатления от кажущейся наиболее приемлемой стороны действительности. Позже таким мирком для героя «Шинели» явится вдохновенное переписывание бумаг, превратившееся для него из службы в основную форму жизнедеятельности. Цветом, поэзией подпольного существования для Аксентия Ива-

новича стала прекраснoдушная убежденность в государственной мудрости директора департамента, а главное, любовь к Софи. Но ему не удается абстрагироваться от реальных отношений между ним и миром. Он сталкивается с фактами, которые выводят его из душевного равновесия. Он замечает, что Софи «чуть-чуть усмехнулась», явно скрывая смех, когда он подал ей уроненный платок, едва не растянувшись на «проклятом паркете», и произносит филиппику в адрес лакеев, не желающих признать его превосходство. И уже совсем его «разбесил» начальник отделения, вздумавший открыть ему глаза на истинное положение дел. Этому враждебно-насмешливому взгляду со стороны, который так будет сковывать Чулкатурина из «Дневника лишнего человека» И. Тургенева, сравнивавшего себя, предаваясь самоиронии, с Поприциным, ему нечего противопоставить, так как он бедняк: «Достатков нет — вот беда» [5, т. 3, с. 198].

Поприцин, подобно герою вольтеровского «Кандида», до конца будет сохранять иллюзию, что в мире царит гармония. Но его убежденность становится все более зыбкой, и в нем все громче протестует чувство личного достоинства. Он все еще прекраснoдушничает, восхищаясь директором департамента и противопоставляя того злобствующему начальнику отделения. Ему даже захочется поближе познакомиться с образом мыслей и всей жизни этого идеального «значительного лица» и, конечно же, своей возлюбленной. Он испытывает жгучее желание узнать, «что такое затевается в этой голове» [5, т. 3, с. 199]. Ему хотелось бы, чтобы из кабинета, в котором он читит перья, его допустили в гостиную и даже в будуар Софи, чтобы дали «...заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет» [5, т. 3, с. 200]. Но не означает ли эта жажда разузнать, что одной веры для Аксентия Ивановича уже мало? Возникает «диалектика» противоречивых чувств. Поприцин едва удерживается от искушения приступить с расспросами к «его превосходительству» и признаться в любви «ее превосходительству», но у него недостает решимости. Слишком велика между ними «дистанция». В «Повести о Фроле Скобееве», а затем в повести Н. Карамзина «Наталья, боярская дочь» герой проникает в боярские хоромы и домогается взаимности боярской дочери, подкупив служанку. У Поприцина другой помощник — комнатная собачка Меджи. Не проявляется ли в таком выборе не только раболепие и самоуничижение, но и тайное, неосознанное сомнение в человеческих качествах боготворимой возлюбленной и ее отца?

Здесь обнаруживается особое, душевное состояние героя: в его сознании действительность представляется текучей, зыбкой, призрачной до фантастической степени. Это вовсе не то «становящееся тело», которое М. Бахтин увидел в романе Ф. Рабле [2, с. 343]. Гротеск в данном случае отражает не вечное обновление жизни, а разложение ее отживших форм. Действительность находится в таком глубоком противоречии с подлинным бытием человечества, что искажает психику героя и навязывает ему

гротескное видение. Отмечая это обстоятельство, В. Белинский охарактеризовал «Записки сумасшедшего» как «уродливый гротеск» и вместе с тем «психическую историю болезни... достойную кисти Шекспира» [3, с. 297].

В советском литературоведении установилась мысль, что предметом «Записок сумасшедшего» является не сама «история болезни». И хотя замысел произведения связан с романтической традицией, в частности с романом Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра», с его мотивами безумия художника и неравной любви, а также сатирической параллелью между миром животных и немецких филистеров и буршей, Н. Гоголь в своей повести решительно отходит от романтизма. Г. Гуковский прав, утверждая, что в ней отвергается романтическая концепция безумия как свободы от «ига» разума [7, с. 300]. Но поскольку речь идет, таким образом, об «объективном, клинически-медицинском анализе «истории болезни» [7, с. 301], то не в нем следует искать содержание. Придерживаясь подобной же точки зрения, М. Храпченко подчеркивает, что писателя интересует не «процесс течения болезни», а «социальная атмосфера, определившая смятенность героя» [20, с. 262]. Аналогичные мысли высказывают Н. Степанов [18, с. 267] и С. Машинский [14, с. 160]. По-иному интерпретирует В. Ермилов сумасшествие Поприщина, увидев в нем инакомыслие: «Его «сумасшествие» — это бунт» [8, с. 213]. Близок к этой точке зрения Г. Макогоненко: по его мнению, в повести изображено явление, в котором следует видеть «...не только определенное состояние духа, но... и отношение окружающих и читателя к герою» [13, с. 96]. Действительно, герой произведения превращается из безликой частицы среды в инакомыслящего, однако безумие как умственное расстройство и как протест против устоев, кажущихся незыблемыми, — разные вещи. Конечно, между ними возможна связь. Г. Гегель рассматривает помешательство в качестве возможной переходной ступени от непосредственного сознания к рефлексии, которую «...чувствующая душа проходит в борьбе с непосредственностью своего субстанциального содержания, чтобы... вполне овладеть собой и осознать себя» [4, с. 177]. Таким образом, сумасшествие — болезнь души, потрясенной разладом между устоявшимися воззрениями и действительностью.

Примечательна в этом отношении эволюция героя поэмы А. Пушкина «Медный всадник». Примирившись с участью «маленького человека», он не испытывает, в отличие от Поприщина, муки от сознания имущественного неравенства и не ищет в своем дворянском происхождении средства для самоутверждения. Но гибель возлюбленной и крушение мечты о семейной идиллии становится для него и гибелью его прежнего «я». Безумие изолирует Евгения от социальных связей и является вместе с тем преддверием и формой инакомыслия. Когда год спустя наступает такое же ненастье, то это повторение ситуации воскрешает в его памяти пережитое им душевное состояние, и для него наступает минутное просветление: «Прояснились в нем страшно мысли»

[17, т. 4, с. 394]. Поскольку же вследствие безумия он как бы возвращается к тому синкретическому сознанию, которое Л. Леви-Брюль называет «мистическим» (лучше, пожалуй, сказать «магическим») и «пра-логическим» [11, с. 49], то отождествляет самодержца с его изображением. Создание искусства превращается в расстроеном воображении в явление действительности, и Евгений грозит ему возмездием.

Поприщин же не сразу осознает враждебность действительности, поэтому безумие нарастает у него постепенно. А так как ощущение неблагополучия на первых порах является бессознательным, то и возвращение к «пра-логическому» мышлению, сущность которого состоит, по мнению Б. Поршнева, в фантазировании [15, с. 196], происходит в подсознании. Начинается сумасшествие, очевидно, с того «необыкновенного приключения», которое происходит с героем повести, когда он, увидев неожиданно, что из директорской кареты «выпорхнула, как птичка», Софи, услышал разговор собачек. Эта встреча окончательно подтолкнула его к безумию. В глубинах подсознания у Поприщина уже возникло желание добраться до сути высшей сферы жизни и вместе с тем сомнение в ее идеальности. Зародилось и фантастическое решение прибегнуть к помощи Меджи. Но понадобилось свыше месяца, чтобы открытие созрело и произошло озарение. Аксентий Иванович не сразу приступает к чтению писем, объясняя это тем, что Мавра вздумала мыть полы. Но ведь смог же он внести в дневник очередную запись. Так Чулкатурин, рассказав в дневнике-воспоминаниях о решающем повороте в своей жизни, делает перерыв, чтобы собраться с силами прежде чем продолжить исповедь. Чтение писем производит — точнее, выражает — переворот в сознании Поприщина: он обнаруживает, что между директором департамента и начальником отделения нет никакой разницы. Более того: оказывается, что Софи над ним смеется. Деятельность подсознания не ограничивается синтезом впечатлений. Возникают заключения, сделанные на основе не воспринятых, а угаданных фактов. Поприщину становится известным поведение директора перед награждением, и он узнает, что Софи влюблена («до безумия!») в камер-юнкера...

«Записки сумасшедшего» — единственное произведение Н. Голя, герой которого является повествователем. Поскольку читатель имеет дело именно с его восприятием мира, то перед ним возникает вопрос о границе между явлениями выраженного в повествовании сознания и воссозданной действительности. Леви-Брюль отмечает: «Как правило, животные и люди ставятся в мифах на равную ногу!» [12, с. 319]. Что же происходит в повести? Мифологично лишь сознание героя? Или же все произведение основано на мифе? Поприщин читает письмо Меджи лишь в воображении или на самом деле? Очевидно, в этом эпизоде достигает кульминации обнаружившееся раздвоение личности. Чужое сознание, открывающее беспощадную правду, входит в «я» героя и становится его частью. На изображении подобного процесса, но выраженного в реальной форме, будет построена повесть Ф. Достоевского.

«Двойник». Г. Иванов, проследивая раздвоение личности Поприщина, утверждает, что его началом является выслушанный от начальника отделения «упрек в ...предосудительном отношении к дочери директора департамента»... [10, с. 49]. Видимо, первым симптомом раздвоения является разговор собачек, что же касается конфликта с начальником отделения, то он происходит в реальном плане, и его следует рассматривать как факт действительности, а не сознания.

Новый этап в раздвоении личности героя наступает, когда он, бунтуя против обезчелоченных отношений, пытается вместе с тем найти компромисс, объяснить дисгармонию недоразумением, ошибкой, которую вполне можно исправить. Ему кажется, вся беда в том, что его не за того принимают, а между тем он вовсе не такой, каким представляется не только чужому, но и собственному сознанию: «Может быть я сам не знаю, кто я таков» [5, т. 3, с. 206]. Противоречие между сущностью человека и его общественным положением осмыслялось писателями просветительского реализма, сентиментализма, романтизма, разработавшими мотивы переодевания, подкидыша, похищенного ребенка и его последующего узнания. На одной из таких ситуаций был построен пресловутый роман Ф. Булгарина «Иван Выжигин». Но для Поприщина «естественное» и «социальное», размежеванные просветителями, нераздельны и равноценны. Так автор анонимной повести о Василии Кориотском видел возвышение личности в восшествии на престол и рассказывал, как обнищавший русский дворянин становится королем Флоренции.

Поприщин еще после столкновения с начальником отделения, являвшимся надворным советником, то есть подполковником, как выразился бы майор Ковалев, утешает себя: «...будем и мы полковником, а, может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше» [5, т. 3, с. 198]. Узнав о предстоящей свадьбе Софи с камерюнкером, он заявляет: «...хотел бы я быть генералом для того только, чтобы... сказать им, что я плюю на вас обоих» [5, т. 3, с. 205]. И вот недели через три происходит новое озарение: «Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило» [5, т. 3, с. 207]. Это случилось, когда один год сменялся другим. Обновляется и сам герой: у него теперь не только новое общественное положение, но и имя, он — Фердинанд VIII.

Однако, отождествив себя с испанским королем, бедный титулярный советник счастлив только в первый момент. Дальше он ощущает смятение, которое все более нарастает. Сознание своего величия и вместе с тем ущемленности воплощается в его отношении к пространству и времени. И. Золотусский пишет о Поприщине-короле: «Он... мыслит себя в системе мира, вне департамента» [9, с. 274]. В поле его зрения Россия и Испания, Англия и Франция, Китай и Турция, Италия и Австрия. Похоже, что романтическая повесть превращается в эпопею, в которой «весь народ, а часто и многие народы... оживают на миг...» [5, т. 8, с. 478]. Поприщин вмешивается даже в бытие вселенной. Узнав, что «земля сядет на луну», он призывает «грандов» предотвра-

тить бедствие. Но антитеза между грубой корой «земности» [5, т. 10, с. 98] и нежной, непрочной луной выражает ощущение неблагополучия. И вот найденное «бедное богатство» начинает превращаться в фикцию. Оказывается, что Испания и Китай «совершенно одна и та же земля» [5, т. 3, с. 211]. Когда же выясняется, что «канцлер» является таким же врагом, как и начальник отделения, и преследует несчастного короля с еще большей жестокостью, вносится новое уточнение: «у всякого петуха есть Испания... она у него находится под перьями» [5, т. 3, с. 213]. Что же остается от Испании? Похоже, она является недосягаемым идеалом, новым духовным подпольем.

Метаморфоза происходит и со временем. Превращаясь в воображении в лицо эпопейного размаха, Поприщин включает себя в историю человечества. Он впервые указывает в дневнике год, но условный, обозначающий конец тысячелетия: «Год 2000...» Время выходит у него из реальных границ. Обыкновенных тридцати дней месяца уже мало. Но к ним прибавляется магическая цифра 13, грозящая бедствием: получается 43. Зато декабрь сразу же сменяется апрелем. А дальше время начинает двигаться вспять и вместо весны снова наступает зима. Сознание величия еще сохраняется: цифра удваивается, и 43 превращается в 86, но зато за апрелем следует «мартобрь»... Так как Поприщин, став королем, не видит знаков признания от окружающих, то время утрачивает для него смысл и исчезает, а затем даже приобретает отрицательное значение: «Было черт знает, что такое». И тогда начинается новый отсчет: «Числа 1-го». Это начало, но еще абстрактное. Месяц будет назван, когда король прибудет в свою столицу: «февруарий». За февралем, разумеется, последует январь.

Когда же муки возрастут до такой степени, что и королевский титул окажется бессильным, Поприщин вернется к естественному началу. Теперь ему нужна настоящая родина, тройка быстрых коней. И вот, наконец, становится возможной гармония. Возникает гениальный, необыкновенный по заключенной в нем поэтической силе образ: герой, впервые встретившись лицом к лицу с природой, слышит, как «...струна звенит в тумане». Это возвращение в родной дом. Автор дневника впервые вспоминает, что у него есть мать и обращается с мольбой о спасении к ней. В этих лирических проникновенных строчках исчезает различие между героем и автором произведения: ведь они оба принадлежат к человеческому роду. Но возникшее единство тут же распадается. Гармония не является истинным состоянием мира, в нем верх взяла проза жизни, и от нее не уйти. Поприщин же даже в минуту величайших страданий не избавляется от прекраснотуши, от иллюзии, что если и происходят отступления от гармонии, то лишь незначительные. На одно из них он указывает: «А знаете ли, что у французского короля шишка под самым носом?» [5, т. 3, с. 214]. Таким ли маловажным является последнее открытие Поприщина? С его точки зрения, нос — это средоточие естественного начала. Доказывая, что у камер-юнкера не может быть

больше прав, он заявляет: «Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого...» [5, т. 3, с. 206]. А так как естественное начало отчуждается, то происходит раздвоение человека, получающее пространственное выражение: люди остаются на земле, а их носы живут на луне (поскольку идеал майора Ковалева заключается в чинах, то его нос превратится на время в статского советника). Поэтому-то гранды и ринулись спасать луну. И вот под носом — этим воплощением естественного равенства — вскакивает шишка.

«Записки сумасшедшего» — повесть особая. В ней изображен «случай» не только «замечательный в отношении психологическом», но и сам являющийся непосредственным выражением психологии героя. Это еще не дает основания считать ее произведением психологической прозы, основоположником которой стал в русской литературе М. Лермонтов, впервые воссоздавший в своем романе характер рефлектирующей личности. Автор «Записок сумасшедшего», приблизившись к ней вплотную, остался на позициях того типа психологизма, который был специфичным для писателей, проявлявших усиленный интерес к подсознательному. «Можно предположить, — пишет У. Фохт, — что гносеологической предпосылкой романтизма, возникшего в конце XVIII века... является интуитивное познание действительности» [19, с. 78]. А. Пушкин и Н. Гоголь, обратившись к господствовавшему в их время типу психологизма; перестраивали его в духе критического реализма, социально-исторического подхода к личности.

Итак, общественная жизнь предстает в «Записках сумасшедшего» в опосредованном виде как отражение ее в сознании героя, который увидел в себе человека, но обнаружил, что является «маленьким человеком», и не смог ни примириться с этим обстоятельством, ни изменить его, а поэтому попытался приуменьшить его значение. Так возникает «контраверса», неразрешимое противоречие, в котором Б. Грифцов увидел сущность романа [6, с. 35]. Рост сознания «маленького человека», столкнувшегося с враждебными обстоятельствами, оказывается и его раздвоением, превращающимся в сумасшествие. В связи с этим романтическое содержание принимает, с одной стороны, черты мифа; служащего для писателя средством гротескно-сатирического снижения действительности, а с другой, — в известной мере, эпопеи, в которой выражено самосознание личности, ощутившей свое историческое значение. Но это роман маленький, в нем запечатлен лишь сам момент пробуждения личностного сознания, притом не подробно, как обычно в повести, а сжато. Это объясняется отчасти тем, что отображается личность непосредственная, не знакомая с рефлексией. У героя произведения мыслительный процесс протекает преимущественно в подсознании и, следовательно, недоступен для наблюдения. Видны лишь отдельные вехи, обозначающие основные этапы мысли, и сам результат. Отсюда — фрагментарность, получившая композиционное выражение в виде дневниковых записей и ставшая одним из тех факторов, которые обусловили сжатость «Записок сумасшедшего», что позволяет отнести

их к жанру рассказа, сформировавшегося в русской литературе в первой половине XIX в.

1. Ленин В. И. Памяти графа Гейдена // Полн. собр. соч. Т. 16. 2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. 3. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. В 13 т. М., 1953. 4. Гегель. Энциклопедия философских наук. В 3 т. М., 1977. 5. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 т. М., 1937—1952. 6. Грифцов Б. А. Теория романа. М., 1927. 7. Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. 8. Ермилов В. Избранные работы. В 3 т. М., 1956. 9. Золотуский И. Монолог с вариациями. М., 1980. 10. Иванов Г. В. Повесть Гоголя «Записки сумасшедшего» // Вестн. Ленинград. ун-та. Ист., язык, лит. 1979. Вып. 2. 11. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. 12. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937. 13. Макогоненко Г. «Медный всадник» и «Записки сумасшедшего» // Вопр. лит. 1979. № 6. 14. Машинский С. Художественный мир Гоголя. М., 1979. 15. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979. 16. Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1972. 17. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1962—1966. 18. Степанов Н. Л. Н. В. Гоголь. Творческий путь. М., 1959. 19. Фохт У. Р. Некоторые вопросы теории романтизма (Замечания и гипотезы) // Пробл. романтизма. М., 1967. 20. Храпченко М. Б. Собрание сочинений. В 4 т. М., 1980.

Статья поступила в редколлегию 11. 10. 83

О. М. Цивкач, ассист.,
Ивано-Франковский педагогический институт

Н. В. Гоголь в борьбе за журнальную трибуну (статья «О «Современнике»)

После сотрудничества Н. Гоголя в пушкинском «Современнике» (1836 г.) очередная попытка сыграть активную роль в русской литературе была осуществлена им в 1846 г. Узнав о намерении владельца «Современника» П. Плетнева передать право на издание журнала Н. Некрасову и И. Панаеву, Н. Гоголь спешно пишет программную статью о реорганизации «Современника» («О «Современнике»), оформляя ее как свое письмо к П. Плетневу.

Об этой статье не раз шла речь в специальной литературе; она рассматривалась в сопоставлении с заключительной заметкой в первом томе «Современника», завершающей раздел «Новые книги», с целью установления ее автора [11]. О статье упоминают В. Березина и Д. Благой, констатируя изменение журнальных и литературных позиций Н. Гоголя в 1846 г. [1, т. 1; 3, т. 2]. Но статья «О «Современнике» по сути не рассматривалась исследователями в связи с общими проблемами и тенденциями развития литературного процесса в 40-е годы XIX в.

Эти годы характеризуются серьезными изменениями в литературе, журналистике, критике. Именно к этому времени периодические издания получают наибольшую популярность, возрастает значение журналов и газет в жизни общества. «Толстые ежеме-